

ВСЕ ЛЮДИ НЕ МОГУТ БЫТЬ НЕПРАВЫ

(НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО)

Здравствуй, бесценный мой брат.

Наверно, ты обеспокоился, хоть и прочёл мою записку, но напрасно. На недельку я подался в бега, чтобы не смущать твоё новое, семейное счастье, да и поразмыслить о жизни нелишнее. Снял угол, тесную комнатёнку в низине, у двух радушных стариков, адрес на конверте.

Окрестности, как и всюду, хороши. Есть мелкая, иногда по колено, речушка, до вечера сангиной и сепией делал наброски торчащих из песка коряг с камнями; написал маслом этюды мостков и привязанной плоскодонки на песчаном берегу. Первая проблема: где сушить масляную живопись? В доме? Это я привык засыпать под запах красок, мне в охотку, лучше табачного дыма, а каково хозяевам? Предложили для сушки место под навесом во дворе. И что ты думаешь? В низине полно мошкары, а ещё летят на домашний свет мохнатые, отвратные видом и прикосновеньями, будто слепленные из серой шерсти, толстые ночные бабочки. Так что наутро нескольких копошащихся насекомых мне пришлось выковыривать из краски мастихином, неприятное занятие.

В четверти часа ходьбы от моего пристанища — местный рынок, на возвышении. Чтобы пройти через центральные ворота, пришлось бы сделать ещё приличный крюк, но, к счастью, тропинка с низины поднимается прямо к рынку, к прорехе в хлибком заборе, удобно. К этому проходу ведёт ещё одна тропка, с другой стороны низины, вдоль долгих густых кустов; и в подрагивающих кустах даже издалека можно заметить мелькающие разноцветные пятна, человеческие фигуры, и мужские и женские: в кустах, как известно, каждый ищет своё.

Вначале с удовольствием прогулялся по рынку, рынок в чём-то интереснее пленера, тут свой эльдорадо для художника: и товар колоритен до необычайности, и лица рыночных торговцев и торговок — хоть сразу на бумагу, на холст — весьма любопытны. Заспаные, зевающие, но как преобращаются, когда рядом появится кто-то с озабоченным взглядом. Сразу со всех сторон летят призывы купить новейший гуталин для модных мужчин, замки от всех воров, свежайшие пиявки от всех болезней и прочее, и прочее. Замечательная мимика, губы, взгляды, запечатлеть бы, а мгновения скоротечны, остаётся писать только по памяти, но тут уж, увы, — поневоле приврёшь.

Как на любом большом рынке, есть здесь стоянка солидных, степенных художников, мэтров, как они сами себя величают, и я не преминул пройти мимо, посмотреть, чем дышат наши ревнители классических канонов, вернее, старательные имитаторы оных. Всё тем же. Зато знают себе цену, и подать себя ловкие мастера: вид чуть фривольный, одна-

ко ухоженный, прилично-романтичный, внушает почтительное доверие даже снобам — с такими и торговаться-то стыдно, они же возвышенные, служители муз. Я полно встречал их прежде, но опять въедливо всматривался в их работы, и опять мне кажется, что свои перспективы все они строят по линейке. Аккуратно, по-деловому, со знанием дела. Как в рыночной лавке отмеряют отрезы материи из тугих рулонов ткани. Молодцы, комар носа не подточит! Увидев у меня через плечо сумку-конверт с торчащими углами, поняли, что и я художник, но, судя по одежке, не их поля ягода, не их полёта, нищета, голь перекатная, и уставились на меня настороженным, неприязненным взглядом: мол, тебе тут не место. Да я и сам знаю, не тянет меня к ним.

А свободное местечко нашлось почти там же, откуда и начал свой поход на рынок — недалеко от прогала в деревянном заборе. Вбил в шаткие заборные доски гвозди, развесил работы. Подходили зеваки, смотрели, уходили по своим делам. И только один, явно пьяненький, задержался у моих работ дольше остальных, стоял, медленно переводя бесстрастный взгляд.

Зато меня отыскивали господа со стоянки маститых мэтров, пришли несколько человек, посмотреть, кто я таков, что не трепетал перед их мастерскими полотнами, — и тут уж, возле моих работ, потешились вволю: куксились, недоумённо поднимали брови, фыркали, переглядываясь между собой, и смотрели на меня, как на двоечника у доски.

— Интересует что? — сквозь зубы, нарочно спросил я их, и они с кривыми, брезгливыми усмешечками качая головой, убралась восвоси, на свою сытую стоянку признанных.

Ничего, я привык, плевать, на всех нервов не хватит. Поодаль лавка скобяных изделий, мужичок в жилетке, с пробором посередке на уже лысеющей голове, дальше сухонькая торговка швабрами и вениками, и я, достав походный блокнот, взялся их незаметно зарисовывать. Отвлёк шум, женская ругань.

— Ты б лучше её умыла, тебе зря мыло дали задарма? — возмущались одни женщины, и в ответ — пьяная матерная брань другой, довольно молодой женщины, правда, неряшливой и с лицом в глубоких, как шрамы, морщинах, от ноздрей к подбородку, типичных для алкоголичек (пьющие дамы чрезмерно морщатся и гримасничают). Возле женщины, держась за её юбку или просто опираясь, — стояла чумазая босоногая девочка. Увидев мои картины, она вразвалку, качаясь из стороны в сторону, заспешила посмотреть. Смуглая, лет семи, ножки кривенькие, рахитичные, с синими от грязи щиколотками, рот недвижно приоткрыт, — наверно, родилась больной, и неудивительно, если мать — пьющая оторва. Но глаза, большие, рыже-карие — совершенно живые. На вопрос, нравятся ли ей картинки, она, пробулькав что-то невнятное, радостно закивала. Жизнь ещё не ожесточила её маленькое сердце, всё худшее, что присуще нашему миру, ждёт впереди, а сейчас она ещё умела радоваться всему вокруг. Чем не пример нам всем, ворчащим на жизнь?

Конфет у меня не было, но были пирог с капустой, яйцо вкрутую и кусок сахара — запас на день. И я передал его в кульке девочке. Она недоверчиво посмотрела на кулёк, на меня, схватила кулёк своими чумазыми цапцарапками и скорей заковыляла прочь, будто боясь, что я дал только поиграть, но заберу назад, или чтоб скорей порадовать беспутную мамашу. Ты знаешь, иногда я могу не есть подолгу, со мной такое случается, и для меня это была невеликая жертва, наоборот, приятно: хоть кому-то оказался полезен. И быстро забыл. И как же удивился, когда девочка снова появилась, что-то держа за спиной. Она впопыхах протянула мне маленький букетик — и опять неуклюже улепетнула.

Из какого заветного тайника достала она своё сокровище, чтобы вернуться и передать его мне? Загадка! К сантиментам я не склонен, но нетрудно угадать, что чувствует взрослый, когда ему преподносит пода-

рок ребёнок, да ещё незнакомый, да ещё такой подарок! Замечательный букетик: три васильки и два зелёных, с золотистым отливом колоска, совершенно пустых. Будто маленький нетерпеливый воробышек поклевал все зёрнышки.

Слов нет, я был тронут, а чудный букет сам просился запечатлеть такую прелесть.

У меня была бутылочка с льняным маслом на донышке, в высохших вчерашних пятнах белил и малинового краплака — нарочно не вытирал, понравился узор. И как предвидел, словно угадал: пригодилось ведь, готовая симпатичная вазочка! Чуть укоротил стебельки, соорудил подставку, воткнул в бутылочку букет — и дело за малым, пиши! Васильки (ультрамарин, кобальт синий) получились в считанные мгновения ударами плоской кисти, благо расплюснутая кисть уже близка по форме их лепесткам, остальное — чуть дольше, но на всё про всё минуты, минуты захватывающего, азартного наслаждения.

Вытираю кисти, чувствую: кто-то сзади. Не люблю, когда стоя за спиной, надзирают за моей работой, и сердито оглянулся: приземистый, обрюзгший господин с физиономией и глазами мопса, в руке полная корзинка со снедью.

— Аяй, — вытирая пот со лба, сказал он с растерянным изумлением, будто на его глазах в заурядном, обыденном месте, каким является рынок, показали вдруг цирковой фокус. Его рука потянулась к карману некогда дорогого, но потёртого до отблесков костюма — этого хватит?

На короткой пухлой ладони появились три монеты, на которые купишь разве что полбуханки хлеба, да и то одну из монет толстяк сразу же убрал, зато присовокупил небрежно: «А быстро вы...» Наверняка сей унылый хитрец уже потоптался на стоянке солидных художников, глянул на цены — а они там раз в двадцать, в тридцать больше, даже для крошечных форматов, — но по моему виду прикинул: нищему и мелочь счастье. И знать он не желает, сколько стоят и материалы, и труд, и вдохновение художника, зачем ему это? Я посмотрел на него в упор, он заюлил взглядом, закивал: «Понял, добавлю». Однако бесшабашная мысль: «А ведь ровно двух монет и достаточно, чтобы навсегда закрыть глаза любому и спровадить туда, где никакие монеты уже не нужны,» — развеселила меня. Да и сколько работ раздарено мной даже тем, кто и не просил, просто по настроению, а тут мне предлагали, пусть и символические, но деньги.

— Больше не надо, — снисходительно сказал я, — вот только не вышло.

— Да это мы сейчас, — засуетился толстяк, утрамбовал в корзинке продукты, накрыл газетой, а сверху ровнёхонько уложил мой этюд. Уходя, он бережно держал корзинку перед собой обеими руками, чтобы этюд не съехал, и неуклюже кланяясь мне на прощание, бормотал: «Малышке понравится, обязательно понравится...»

Но кто эта малышка, — дочка, внучка, племянница, любимая маленькая женщина? Не спросил. Жаль. А вот вручённая мелочь приобрела вдруг для меня сверхценность, получил деньги за то, чем люблю заниматься. Знаю, некоторые торговки и торговцы из суеверия не размещают первую свою выручку с нового места, берегут для удачи. И я поступаю так же. В одной незатёртой монетке сделаю при случае дырочку, повешу на грудь или пришью к карману как талисман. Ну а вторая монета — вроде и лишняя, всё равно ж на твои живы; хотел вернуть лишнюю эту монету толстяку, но того и след простыл, наверно, спешил порадовать свою малышку.

В общем, денёк у меня выдался нескучный, и целая цепочка приключений: отдал снедь девочке — получил букет, написал букет — получил монеты, — и в итоге мой этюд кому-то ещё пригодится, придётся по душе некоей малышке, и все довольны. Круговорот продуктов, букетов, денег и приятного в природе, забавно.

После рынка продолжил изучать окрестности, много набросков углем, гуашью; интересно вышли закопчённые фабричные фабрикасы вдалеке, напоминают очертаниями сумрачные стены сурового, неумолимого каземата.

Следующий день на рынке опять не обошёлся без критиков, везёт с этой треклятой напастью. Задержались напротив нахальные щёголы, повесы из золотой молодёжи. Хотя — какая там золотая? Так, мишура, блёстки на крыльях откормленной моли. Не знаю, что они искали на рынке, для этого у им подобных есть прислуга, и есть все утехи, доступные за деньги. Похоже, бездельникам захотелось разнообразия, порезвиться после ночного загула.

Прицепился молодой хлыщ, моложе своих товарищей, с вьющими до плеч волосами. Наверно, привык быть в центре внимания своей компании. Капризно жеманный, извилистый, самолюбивый рот, безапелляционный тон. Ёрничал, показывая на красные полосы моего портрета: «Мужик что, с похмелья брился тупой бритвой? Или зараза какая? Наверно тут, на рынке, подцепил. А это, а это, посмотрите, — тыкал он тростью в деревца моей рощицы, — голодная пляска синих глистов, да?»

Тебе известно, брат, как иногда, к сожалению, вырывается наружу мой характер, как бываю необуздан, и я молил бога, чтоб они скорее убралась, однако наглец не унимался.

— Меня ещё не сажали в седло, а я уже смешивал краски лучше этого мазила, — изголялся он. — И точно бы не выставил такой детский лепет даже перед рыночной пьянью. Хотя, может, для нужника сойдёт, посмотреть и подтереться!

Они потешались до надрыва, но я устоял перед искушением, не бросился на них, просто сосредоточил мысли на монете в моем кулаке, стиснутой настолько, что она порезала пальцы и ладонь, я думал об этом моём теперешнем талисмানে, который обережёт меня от отчаяния и ярости. И помогло! Ничего не сказав мерзавцам, я отвернулся, дал им уйти спокойно, непокалеченными, — жаль только, оболтусы не оценят моего великодушного смирения. Вот как отбрыкнуться от самодовольных, зашоренных дураков? Стал перевешивать картины, чтоб успокоиться, но, хочешь-не хочешь, всякий такой раз опять душат сомнения, опять терзают мысли, как должно поступать и чего лучше избегать.

Мне кажется, в душе каждого художника живёт собака, та, которая хочет сказать, а не может. И собака виляет хвостом, заглядывает всем в глаза и старается, забыв свой язык, заговорить на признанном языке других, чтобы всем понравиться, и тогда её ласково треплют по шее и ставят полную миску.

Проходя мимо стоянки мэтров, слышал их похвалы друг другу: «О, виноградины почти как у Снейдерса!» И я бы искренне присоединился к подобной их похвале: ведь сам, мучительно совершенствуя собственные навыки, знаю, каких трудов стоит хотя бы отдалённое приближение к мастерству классиков. Потому честь и хвала солидным, многоопытным художникам, их уровень подтверждён и проверен.

А нам ведь подавай проверенное. Мы предпочитаем ходить по бульварам, по ухоженным аллеям, по подметённым дорожкам, опрятными и опробованными до нас гладкими, расчищенными путями — мы же цивилизованные люди. И приличные художники с рынка — тоже цивилизованные. У них всегда на уме проверенный путь, они изучили и просеяли все безотказные, стопроцентные приёмчики, и добротное, отлаженное, освоенное раз и навсегда мастерство никогда их не подведёт. Абсолютно никогда! Так что исполненные ими картины в роскошных бронзовых и золочёных рамах всегда будут украшать дорогие гостинные богатых господ, которые тоже ценят проверенное и весьма приличное. И всегда будут иметь спрос, лишь переставляя в помпезных натюрмортах предметы, фрукты и сервизы — и всё благочинно, потому что провере-

но. И продолжай именно так и никак иначе, от добра добра не ищут, и будешь сыт и в чести! Но как быть другим, кого несёт бродить нехоженными лугами, продираться сквозь заросли, чтобы увидеть неожиданное, или пусть и обыденное, но с внезапной стороны? Как быть мне?

Весьма ценю Снейдерса, особенно как он прописывает прозрачную, светящуюся изнутри плоть, сочное мясо ягоды. Впрочем (тешу себя самоуверенной надеждой), позанимавшись достаточно долго и самоотверженно, я научился бы писать в манере, похожей на его. Даже не сомневаюсь, научился бы, я упёртый, на мне пахать и пахать. И приличные художники похвалили бы меня: «Замечательно, почти как Снейдерс, как фламандские мастера». Вот только главными в их похвале были бы два слова: «почти» и «как». А я не хочу ни почти, ни даже как. Ведь они уже есть, старые фламандцы, и Снейдерс есть, вечная ему память — и тогда зачем я? Ты с твоим тонким, наблюдательным умом, ты же понимаешь, брат, суть вопроса?

У собаки свой взгляд. Да пусть даже мой взгляд — не взгляд умной собаки, а взгляд мимолётной стрекозы. Я вижу красоту, как вижу, и лишь хочу, чтобы слышали мой голос, мой собственный язык, посмотрели на красоту моими глазами, хотя бы попробовали, без снобизма, непредвзято, разве это так много? А стоять в хоре и петь одно со всеми — не по мне. Это не гордыня и не спесь. Я художник, а потому одинок, и в том моё спасение: никто не загораживает взгляд.

И всё равно эти напыщенные молокососы вывели меня из себя. Чтобы стряхнуть раздражение, пошёл вдоль забора — и совсем рядом от моих картин едва не запнулся о человека. Загораживая путь, вытянув одну ногу и согнув другую, полусидел, полулежал мужчина немного за тридцать, одетый более чем скромно и в стоптанных башмаках, возможно, армейских, чьи худые, просящие каши ранты были скреплены скобками из стальной проволоки. Его спина опиралась на прислонённый к столбу заплочный мешок, а тёмноволосая, с обильной сединой голова склонена на грудь. Вспомнил его: он тоже, — правда, пьяненький, — подходил к моим работам и долго, отстранённо таращился тусклым взором.

Проходящие люди нечаянно задевали его ноги — а может, и нарочно, чтоб не слишком нагел, разлегшись, где ему заблагорассудилось, ворчали, ругали его — но лежащий не реагировал. Может, глухонемой или контуженый. Застывший взгляд его полуоткрытых глаз был направлен на согнутое колено, по которому сонно ползала блестящая зелёная муха. Ничего не стоило прихлопнуть её одним движением или поймать в кулак и придавить, но, даже когда муха перебиралась на его руки, он лишь отгонял её ленивым движением пальцев.

Работал где-то на рынке? Непохоже. Судя по объёмной котомке, скорее всего, бродяга или бездомный, живущий по принципу: «Всё своё ношу с собой». Спешить ему некуда, угол, где приткнуться, полно, а уж вино на рынке всегда найдёшь, и дешёвое, и вообще дармовое, слитое. И вместе с тем, от него не пахло столь мерзко, до рвотного рефлекса, как от многих бездомных, — возможно, у него был где-то короткий приют, может, у женщины: хоть и самую малость, но он следил за собой и, по крайней мере, иногда брился, иначе его подбородок и щёки покрывала бы не короткая щетина, а запущенная борода. Впрочем, измызганная шляпа, атрибут попрошайки, была при нём, лежала рядом, словно помятое гнездо, но, на мой взгляд, ему заради милости стоило бы выбрать места посытнее, на рынке такие есть, скажем, около мясных или хотя бы овощных лавок. Бойтся товарищей по несчастью, что побьют и прогонят? Вряд ли: кисти рук хоть и узкие, но жилистые, в ручьях вен; и черты лица выступающие, словно набухшие от неумённого внутреннего давления, такие лепятся не уютным созерцанием, а пережитыми страстями. За этой пьяненькой сонной безмятежностью явно таился не погасший до конца вулкан, подобные тихие омуты не стоит понапрасну тревожить. Колоритный персонаж.

Я смотрел на него — и уже зуд в мозгу, нетерпение. Знаешь, когда просто видишь незнакомого человека — он всего лишь лицо из толпы. Но когда начинаешь его рисовать или только настраиваешься, присматриваешься, чтобы начать рисунок, всё кардинально меняется. Пытаешься заглянуть за оболочку и потихоньку приходит убеждение: действительно, видишь! Видишь вдруг сокрытое, много большее, чем выразительная, яркая, броская или совершенно неказистая, пошлая наружность, будто на тебя снизошло счастливое озарение или сам человек, тоже присмотревшись к тебе и доверившись, добровольно раскрывается, и с этого момента за гранями его височных долей, за выпуклостями надбровных дуг, за впадинами глазниц, за складками губ, за морщинами, за блеском глаз и за тенями — подмечаешь иные грани, уступы и провалы, высокое и низкое, изгибы и спазмы, тихий свет и мрак тьмы, всё, что есть внутри нас, в жизни каждого без исключения, будь то вальяжный, весь из себя, преуспевающий господин или бездомный бедолага. Эти открытия волнуют и художника, и зрителя тоже: раз лицо изображено, значит, неспроста, значит, что-то за портретом есть, тоже надо всмотреться. Вот в чём наша сила, сила художника, мы побуждаем людей посмотреть в самих себя.

В облике и в позе бродяги ощущались и сила, и надлом, этот образ уже зацепил меня, захотелось разгадать его загадку, начать рисовать. Но со словами «Вот ты где», — к бродяге мягко подошла миловидная пухленькая женщина, положив в смятую шляпу несколько яблок и сдобу, от которой до меня донеслось ароматное облачко свежей выпечки, и, наклоняясь к пьяненькому, что-то настойчиво, горячо зашептала, касаясь губами его уха. Однако ничего в позе мужчины не изменилось, ни один мускул его лица не дрогнул. И только когда дама бесшумно удалилась, он вытащил из вещмешка фляжку, сделал из неё несколько долгих глотков, потом наощупь, не глядя, достал из своей шляпы белёсое яблоко, расклинил его большим пальцем на две половинки и закусил, монотонно двигая челюстями. И всё это неспешно, никакой суеты, порой позавидуешь алкашам, у них будто вся жизнь впереди. Но самое интересное произошло дальше. Бродяга стал укладывать фляжку обратно, его котомка раскрылась шире — и я увидел фанерку, к которой прищепкой крепился белый лист бумаги, и позади — ещё фанерка — её бродяга, будто вспомнив, осторожно извлёк, и, встав, установил на пару ржавых гвоздей, их было предостаточно вбито в столб на уровне выше плеча. Это была картина! Вот так так...

И возможно, вовсе неспроста оказался бродяга недалеко от меня: наверняка он слышал, как мои картины ругали молокососы, и предположил, что я-то не стану издеваться над его творением и им самим.

Послушать некоторых солидных, преуспевающих художников — они чуть ли не духовные пастыри, поводыри остальным, а их ремесло — самое ценное для мира. Высокомерно и глуповато. Даже золотари, ассенизаторы, которые прокачивают по трубам или, разгоняя всех встречающих, вывозят на окраину в отвратных бочках зловонные помои — в обыденной жизни важнее для жителей, чем мы, художники. И пекари, и портные, и обувщики — без них уж точно не обойтись. Поэтому не идеализирую выбранную мною стезю, других увлекают иные уделы. Но все художники, не важно, какие они, близки мне одним: господь, который ваял людей, как кукол, именно в наши глазницы вложил особенные глаза. И теперь я увидел перед собой не безликого бродягу, я увидел подобного себе. (Возможно, и он неспроста расположился рядом со мной, тоже угадал во мне родственную душу.) К его картине, написанной на загрунтованной фанерке (по всем признакам, от заурядной посылки), я не решился бестактно подойти вплотную и, уткнувшись носом, словно обнюхивая, разглядывать живопись в упор, как это бесцеремонно делают многие, а смотрел чуть сбоку и издали, тем более, что место перед ней

занимал сам прикрывший автор. Весьма необычная работа. Вообрази: заполнена лишь примерно на одну треть, слева. Два берега, на дальнем — кусты, деревца в общих чертах, плоско, начало осени, голубое небо, ни облачка, узкая голубая речка, за берег поворачивает. По речке тихо и безмятежно, судя по тому, что волн совсем нет, плывёт лодка, или замерла на месте. В ней двое: женщина, сидит спиной с раскрытым белым зонтом, этот зонт закрывает и её голову, и лицо мужчины напротив, сидящего на вёслах. На ближнем берегу высокая трава, яркие цветы, раскидистое дерево с желтизной. Прописано не очень профессионально, вернее, совсем по-любительски, — ну и что, эта безмятежная, идиллическая картинка вполне сошла бы за лубочную. Если б не одна странность, сразу сбивающая с толку. И высокая, в цветах, трава на ближнем берегу, и раскидистое дерево, и небо — вдруг всё резко обрывалось, справа оставался только белый грунт да пара коротких грязных полосок в углу, наверно, от ржавых гвоздей. Будто вначале картина была прописана целиком, а потом большую, правую часть грубо, наискосок, сорвали бесчувственным, презрительным рывком. Призадумайтесь...

Есть уличные портретисты, которые, усадив позирующую натуру напротив, пишут её вначале не в общих чертах, постепенно прорабатывая детали, а сразу, готовыми кусками и сверху вниз, — от макушки к бровям, потом глаза и нос, от носа к подбородку, — переходящими друг в друга фрагментами. Так ещё дети раскрашивают книжки-раскраски, начиная с одного края. Я подумал, это манера и моего соседа-бродяги, прописывать по частям, но получилась ещё не картина, а лишь её начало: художник, наверно, потерял интерес (а это ведь случается!) и бросил начатое до следующего раза, когда нахлынет новая волна вдохновения.

Назвав себя, я протянул лежащему руку для знакомства, он приоткрыл глаза и с молчаливым равнодушием проигнорировал мой дружеский жест.

— Это ведь ваша работа? И как называется? — настаивал я, но он опять не потрудился даже пошевелить губами и с полнейшей апатией закрыл глаза. Однако от моего взгляда не ускользнуло, как напряглись, как сжались, словно в ожидании удара его веки, как набухли прожилки под его глазами — нет, ему было вовсе не безразлично, что я сейчас произнесу. По-честному, над его картиной ещё бы трудиться и трудиться, явно уж слаба для его возраста, но зная, как может ранить художника пренебрежение и не желая снисходительно врать, я сказал вполне правдиво, хоть и обтекаемо:

— Весьма любопытно, весьма.

После этой моей фразы он обмяк, расслабляясь лицом, и задремал, а, может, только сделал вид, что задремал. Итак, на истоптанной пыльной земле шумного рынка полулежал немой или контуженный, или просто не склонный к общению, неприкаянный человек, который, предпочтя словам краски, вдруг надумал творить в живописи и которому наверняка хуже, чем мне. Вряд ли кого-то заинтересует его картина. Незвестная, без подписи, неназванная работа неизвестного художника.

И снова этот вечный для меня вопрос: кто есть художник? Скажу, возможно, спорную мысль (а ты уже привык к моим несуразным мыслям): по-моему, чтобы быть художником — надо жить им, жить этой жаждой, хоть недолго, хоть однажды. Вначале ты, может, и не сознавая, исполняешь неперменный ритуал посвящения: впервые покупаешь на накопленные деньги бумагу, пробуя её на ощупь, блокноты, выбираешь краски, холсты, ты затачиваешь со всем тщанием, в предвкушении, новенькие карандаши — и вот она, твоя дорога, иди, ты уже сделал свой первый шаг, ищи красоту, стань её слугой и господином, только не жди мирских благ, у тебя уже есть награда.

Всё так, но сколько убийственных причин упасть и не подняться! Это ведь сплошь и рядом: и среда обитания ну совсем не та, как бы ты ни

мечтал, и не было должных учителей, зато вороньё тут же налетит, только начни творить своё, заклюют насмешками, издёвками, хотя сами ни уха, ни рыла, хоть самым этим критиканам ноль цена, но жалят искусно, будто б даже с сочувствием, с наилучшими намерениями, и ты уже дрогнул, поддался, божью искру легко заплевать — а кто, как не художники, знают: неверие в себя убивает надёжней любого яда. (Пишу это, а сам думаю, не ишу ли оправдания самому себе, своей слабости?)

С другой стороны, разве всё зависит только от художника, простого смертного? Взять хоть меня. Если б не твоя помощь, может, и с муками, и с терзаниями, я забыл бы о рисунках, о красках, а думал бы о хлебе насущном, о пропитании себя и близких, так совсем бы и сник в суете, не имея шансов подойти к чистому холсту. И вспоминал бы о живописи с болью, как — прости за высокий «штиль» — о некоей неисполненной своей миссии (нам ведь кажется, что мы рождены для духовных подвигов).

И такой художник, обречённый на забвение, лежал сейчас на рынке, бревно бревном, загораживая посетителям проход, а над ним, на столбе, как эпитафия, — красовалась его непонятная, словно склеенная из странных ключев, картина на почтовой фанерке. Скорбное зрелище.

Будь моя воля и такая возможность, я начал бы Памятную книгу несбывшихся художников, вписал бы имена их всех, названия их творений, пусть и не завершённых, да пусть даже только задуманных, мечтаемых, даже если их работ и не осталось вовсе. Ведь именно они, непризнанные, обозванные неудачниками, не состоявшиеся даже в собственных глазах — в первую очередь достойны такой книги, потому что заплатили за свои горемычные попытки самой высокой ценой, молчаливым страданием и не видимой посторонним драмой.

Альпинисты поднимаются в горы по зову души, и любой из них, даже тот, кто в первом же восхождении, не дотянув далеко-далеко до вершины, сорвался вниз, разбился насмерть или переломался и обездвижен навсегда — он всё равно остаётся для всех альпинистом. Потому что собрался с духом и попытался. Художник — так же. Пусть ничего и не достиг, он художник, он дерзнул.

Судя по тому, что нахальная зелёная муха совершенно безнаказанно ползала по недвижным рукам и лицу лежащего, он всё же уснул, и я вплотную приблизился к его картине. И удалось заметить кое-что ещё. На раскидистой густой кроне ближнего дерева, оказалось, были старательно процарапаны тонкой иглой листья, несуразно большие, но совершенно одинаковые и на манер рыбьей чешуи. По-детски наивно, а ведь взрослый мужик. Дотронулся мизинцем до блеклых коричневых полосок — и странно, почувствовал, к удивлению, их выпуклость, не случайная ржавчина, написаны маслом, совершенно непонятно!

Чем-то я потревожил, побеспокоил бродягу. Возможно, он привык дремать с освещённым лицом, а я загородил ему солнце, или нечаянно задел. Спокойно, будто и не спал, он открыл глаза и, встав, размяв ноги, засобирался, уложил в заплечную сумку свою работу и был таков.

И только когда он скрылся в толпе, до меня дошло: картина вовсе не была недописана, от лени или запоя, она продумана и завершена. Я, чурбак стоеросовый, оряси́на, я был слеп, я оценивал его мастерство, а не увидел истины, не увидел самого ценного: умного, тонкого смысла, рассчитанного не на сытых зевак, чьи глаза запылились жиром, а на тех, может, и немногих, кто способен видеть, и не только глазами. Запоздало, но в моей памяти всплыло: именно так, с листьями-чешуйками, изображали на старинных гравюрах деревья Эдема, райского сада. Рай. На его картине и был рай, каким, наверно, представляет его себе мужчина, успевший пожить и узнать цену многому, настоящему и ненужному. Никаких, в угоду зрителям намалёванных замков с прудами и лебедями-подушками, никакого слюнявого сюсюканья и всего эдакого. А только лишь женщина под лёгким белым зонтом, наверно, любимая, он сам

вместе с ней, и умиротворение вокруг, а больше ничего и не надо. Но вдруг беда, жестокая, беспощадная, мертво белая, как человечьи кости, ледяная метель, засыпала его счастье, и нет больше к нему пути, от былой колени остался лишь кусочек, два коротких мазка кистью, жизнь навсегда замело смертельной стужей..

Есть у него другие картины? Не знаю. Даже если она единственная, в ней всё сказано. И про жизнь, и про боль, ничего ни убавить, ни прибавить, а эта скупость в красках разве не свидетельство таланта? Может, он и ждал с упрямством угрюмого молчуна, ничего никому не разжевывая, как раз того зрителя, который поймёт всё сам? Пожалуй, так и есть.

Имеющий глаз, да увидит... Вот только я сам ещё недавно смотрел на его творение с самонадеянным снисхождением, с тем же подленьким снобизмом, как и избалованные господчики на мои картины. Так разве я хоть чем-то лучше моих критиков и моя совесть чиста? Увы... Ладно, завтра, когда сосед опять появится, исправлюсь, поздравлю с интересной работой. Трудно схожусь с людьми, но мне кажется, с ним мы подружимся, есть у нас общее.

После рынка писал этюды вдоль берега, потом при закатном солнце в оконцах рисовал хозяев, бабушку с дедом, за ужином, с их позволения. Занятные старички, спрашивают друг у дружки, не горячо ли, нормально ли соли, потом едят молчком, но вот один мажет маслом хлеб — и первый кусок не себе, а протягивает дрожащей рукой супругу, и так во всех мелочах, если присмотреться. Уже некрасивы, уже морщины даже на носу и дряблые щёки висят ниже подбородка (хотя черты лица у обоих правильные, наверно, в молодости были хороши собой и не одним вскружили голову), но разве не достойно зависти это угасающее единение, это слабое, старческое желание до конца быть опорой давнему своему другу и возлюбленному? Я, если честно, завидую. Но вопрос художнику: как передать не их жесты, не движения рук, а сдержанные, не на показ, чувства, что прячутся от посторонних взглядов в морщинках, в уголках глаз, как показать не застолье, а это их тепло друг к другу? Пока не представляю. Если вообще получится. Наверно, в каждом из искусств есть что-то, что доступно только ему, и, наоборот, именно ему недоступно. Что легко для нескольких живописных мазков — недоступно мирядам слов, и напротив, доступное нескольким словам (как моим — о стариках хозяевах) — возможно, не по силам ни рисунку, ни краскам...

Поздним вечером опять ушёл к реке, с блокнотом и углем. Тихо, лишь зудит мошकारа, а блики, свет на воде, на кустах под Луной, зыбкие тени — всё контрастно, рельефно, загадочно; иногда то тут, то там слышны всплески — наверно, здесь водится и крупная рыба — и фантазия уже рисует, как вот-вот из воды высунется, осмотрится по сторонам и встанет во весь рост речное чудовище, ночной демон (может, заняться иллюстрацией к каким-нибудь сказкам?), но потом опять тишина, благодать, звёзды, вечность, не уходил бы. Когда возвращался в дом, забрехала соседская собака и сам что-то задел у порога, разбудил хозяев, слышал, как они заворочались и зашептались. Утром извинился, но они не в обиде: дескать, ночные гулянья — дело молодое (считают меня молодым!). Часто ловлю себя на мысли, что бываю многословен, но с кем ещё мне, анахорету, поделиться пережитым, как не с родным и терпеливым братом? Прошу, не обессудь.

Предыдущую запись сделал сегодня утром, пока не забылось. Потом рисовал грушевые деревья в хозяйском саду, и потом только пошёл на рынок — и очень, очень пожалел, что не познакомился с тем бродягой художником, что не узнал хотя бы его имя, для Памятной книги. Потому что сегодня всё перевернулось.

Поднимаясь на рыночную гору, увидел вдалеке, возле кустов у встречной тропинки, толпу. Ну толпа и толпа, мало ли... Бродяги на месте ещё

не было, хотя зелёная муха уже ползала по его столбу. Я ещё не расставил, как из проёма в заборе показались та симпатичная женщина, знакомая бродяги, сказала, сдавленно плача и кивая за забор: «Он там...». Народ пошёл смотреть, я тоже. Из кустов неподвижно торчали ноги в ботинках со стальными скобками на рантах. Как и что произошло, мне было уже всё равно, не могу видеть это.

Увидел мальчишек, наверно, беспризорики, кидали друг другу фанерку и она у них не падала, планировала, летала из рук в руки. Картина бродяги. Достал им пирог, предложил меняться, но из-за спины выскочил мальчуган, выхватил пирог, съел его, давясь, на бегу, побежал к остальным. Я просил отдать мне картину, но дети дразнились, подманивали, а потом разломали фанерку о колено, им было скучно, думали, побегу за ними.

Зато мне под ноги попался листок, сквозь который просвечивало изображение; поднял, перевернул — и не сразу сообразил, как его надо правильно расположить. Изображена передняя часть башмака с блестящими скобками на ранте, объёмно, с отлично проработанной светотенью, скрученный шнурок ботинка — вообще замечательно, будто гранёный, да и ракурс неожиданный — наверно, рисовал полулёжа. Значит, рисовать бродяга всё-таки умел, и весьма недурно, и у него был свой взгляд. А теперь он там, в кустах, и всем плевать, что он хотел сказать миру.

Я уходил прочь, и опять беспощадным жалящим роем сопровождали меня гнетущие, безжалостные мысли. Этот мир не для таких, как он, лежащий в кустах, или я. Он для правильных, для тех, кто умеет строить перспективы — и красоту — по выверенной линеечке, он для солидных, для размеренных, всезнающих, и я надеялся, что знаю, где и как искать красоту, а нет, знать мне положено совсем другое: знай, сверчок, свой шесток!

Ты утешаешь меня: лучше быть безвестным гением, чем известной посредственностью. А кто сказал, что во мне что-то есть? Только ты да мизерная горстка моих приятелей художников видите во мне некий талант: ты — потому что я твой родной брат, а своих близких мы всегда считаем особенными, они — потому что сами чудаки вроде меня, живут на заоблачных островах, тоже не от мира сего.

Помнишь, я был в крайнем отчаянии, просто в панике, и тогда, как по мановению волшебной палочки, явились вдруг господа и купили две мои картины, и надежда вернулась ко мне, я воспрял из пепла. Но знаешь, почему я оказался здесь? Ещё и потому, что копии тех проданных картин каждый раз выставляю здесь, на рынке, однако никому они не интересны. Подозреваю, ты сам, мой благородный брат, дал денег тем щедрым покупателям — то была ложь во спасение, ты спасал меня. Я угадал?

Ещё твои слова: однажды у зрителей откроются глаза, и они восхитятся. А они что, котятка? И когда это будет — когда меня самого уже не будет? Это же вроде признания в любви у могилы — нет ничего горше. И для того, кто признаётся, и для того, кто уже не услышит. Или как если бы возле умершего от голода, будто извиняясь, застелили нарядную скатерть и накрыли роскошный стол. Худшей издёвки не придумаешь. По мне, лучше хоть капелька понимания и признания, хоть намёк, хоть чуть-чуть — я уже даже не претендую на всеобщие восторги — но сейчас, пока я ещё живой, чем какая угодно великая посмертная слава — слава, о которой я никогда не узнаю.

Ты говорил: публике лень сравнивать, оценивать, думать, она признаёт признанное. И добавлял в сердцах, в запальчивости, что все эти ценители — подобны коровам: им без разницы, трава или розы, лишь бы жевалось. Но ты не прав, брат, совершенно не прав. У людей есть вкус: они выбирают красивую обувь, одежду, изящные дилижансы, нарядную сбрую — значит, как бы то ни было, понимают толк в красивом. Однако на мои полотна они смотрят с недоумением, не обнаруживая в них ни-

какой красоты. А значит, её там попросту нет, лишь жалкая пачкотня и смешные потуги неумехи, бездарного недоучки, пшик, нихиль, ничто и ничтожество. Приговор и диагноз.

ВСЕ ЛЮДИ НЕ МОГУТ БЫТЬ НЕПРАВЫ.

Выделяю эту горькую мысль крупно, она главная.

Моя жизнь прожита впустую, мои картины — пустоцвет, я — недоделанный художник. Тяжко это сознавать, брат...

Долго брёл назад, без дороги, наобум, спотыкаясь, как пьяный, а вернувшись в съёмный угол, сижу теперь на кровати, раздумываю: как поступить с моими работами? Я жил и умирал в моих картинах, думал, вот эта последняя, и всё. Но теперь действительно всё, и мои картины в сумке-конверте жмутся вплотную друг к дружке, будто чужа недоброе. Сжечь их на пустыре, подбрасывая выдранные холсты в костёр? Не знаю, слишком мелодраматично. Так экзальтированные женщины сжигают в костре письма неверного любовника. Ну устрою аутодафе для моих картин — а разве они, разве холсты, картоны и дешёвые рамы виноваты в моей бездарности? Зачем, если хоть другим пригодятся? Тем же стареньким моим хозяевам, в клетки с цыплятами щели заделать. А цыплятки, скажу тебе, живописные, и только кажутся одинаковыми, и бледно-лимонные есть, и жёлтенькие, с оттенками оранжевого, да ещё на фоне кривых серо-сизых досочек с рисунками вокруг сучков, им точно надо на холст. Вот сейчас, лишь подумал, что опять наберу краску на кисть, волнение уже овладевает мною, уже дрожу от мучительной радости. Но нет, всё, хватит, баста, аллес, финита, всё, всё...

Когда — и если — ты получишь это письмо, значит, уже произошло. Отблагодари добрых стариков, хозяев моего недолгого приюта, жаль, что доставляю им хлопоты и нервотрёпку. Из моего бесконечного долга верну тебе только две монеты, они будут в тумбочке возле кровати, в нижнем ящичке, под суконной подкладкой.

И вот ещё что, крайне важное, чуть не забыл (ну как мог забыть, хотя подспудно, и не только в эти последние часы, держу в голове?).

Прошу, умоляю, заклинаю тебя: УНИЧТОЖЬ ВСЕ МОИ РАБОТЫ, что сохранились дома, вплоть до набросков, всё. Не хочу, чтобы после меня осталась лишь насмешка надо мной. А наши с тобой письма сохрани, это святое для меня — и прощай.

Твой непутёвый, неудачливый, ни на что не способный, но безмерно любящий, преданный и благодарный тебе до последнего мгновения...

Это неотправленное письмо было обнаружено при сносе старого дома. Подпись на отсыревшем крае бумаги оказалась размытой, судьба художника неизвестна.

ВСЕМ КОНЯМ КОНЬ

— Алёш, у тебя ж конь есть, — сказал дедушка, — забыл?

— И у тебя всё есть, даже ферзь.

— Иной конь сильнее ферзя. В древности был троянский конь, потом расскажу. Тоже, кстати, деревянный. Так он целое сражение выиграл, правда хитростью. А не хочешь напасть конём на моего короля?

— Ах, да. Шах тебе, дедуль!

— Ба, а мне и ходить-то некуда, мне ведь мат, Алёш, позор на мою старую голову! Поздравляю, молодой человек, — дедушка через стол церемонно потряс Алёше руку. — Запомни: сегодня ты выиграл в шахматы у взрослого. Событие!

Спрыгнув со стула, Лёша кинулся в дом с восторженным криком: «Баб, я у дедушки выиграл!»

А дедушка, задерживаясь в дверях, говорил весёлым басом по сотовому телефону: «Мне тут внучок мат поставил. Без шуток, бац — и

мат! Чего удивляться: акселераты, дети индиго. А я ж должен на ком-то отыграться? Только на тебя надежда. Конечно, поглядим. Ну давай на нейтральной, под липками.»

На встречи со знакомыми дедушка обычно ходил в два места: неблизко — к доминошному столику, где всегда шумно и много народу, и недалеко — к скамейке под липами, где не слышать ни музыки, ни машин, ни электричек. Тихое там место.

Дед положил шахматы в сетку-авоську и неспешно отправился к липам, а Лёша, отпросившись у бабушки, побежал к соседям, повозиться с их котёнком. Потом Лёшу позвали играть в футбол, и ему удалось забить гол в ворота меж двух берёз. Наспех перекусив дома, Лёша собирался ещё покататься на велосипеде, и как раз воротился дед.

Мурлыча под нос и поднимаясь по ступенькам на веранду, он переложил сетку с шахматами из руки в руку, крохотный крючочек на шахматах соскочил с гвоздика, коробка раскрылась и из неё, стуча вразнобой, высыпались фигуры. Быстро их собрать Лёше не составило труда, а чтоб проверить, все ли, расставили фигуры на шахматной доске. Не хватало чёрной пешки и белого коня. Пешка нашлась под тумбочкой, Лёша выкатил её оттуда длинной линейкой. Коня же нигде не было, будто испарился. Поискали снова — и на клумбе рядом с лестницей, и даже в соседней комнате — нету...

Дедушка, озабоченно пожевав губами, позвонил приятелю: «Когда в шахматишки резались, ты белого коня не прихватил случайно? Точно нет? Ну ладно, у себя поищем». Лёша побежал посмотреть, не обронил ли дед фигурку на тропинке или около скамейки под липами, всюду поглядел — нет, и тут нет коня; когда же вернулся домой, застал такую картину: дед, пыхтя, ползал на коленках вдоль веранды, светил фонариком в зазоры между досками и землей, а бабушка пыталась дедушку отговорить.

— Серёж, горюшко ты моё, ну как дитя малое! Сдался тебе этот конь, — жалобно ворчала она. — Слышишь ли меня? Заменишь чем-нибудь.

— Да как ты не поймёшь, — хмуро отвечал дедушка, повернув красное лицо, — пешку, ладью даже, можно хоть пробкой заменить, а коня — чем?

— Давление подскочит, никакой конь не поможет, — настаивала бабушка. — Иди лучше поешь да полежи.

— Ладно, отдохну, — нехотя согласился дедушка, тяжело вставая и отряхивая колени, — потом...

Похлебав чаю, дедушка побрёл в спальню, бабушка пошла следом и через приоткрытую дверь Лёша слышал, как мерно гудит прибор, каким меряют давление, слышал и разговор.

— Серёжка, старый ты дуралей, — говорила бабушка деду, — вон что давление! Посмотрел бы на себя: как буряк, и из-за ерунды!

— Не ерунда, конь, — отвечал дедушка, — всё равно найду.

— Ну да, конечно, найдёшь, ты ж у нас такой, если что в голову втемяшится, хоть кол чеши, не своротишь, — выговаривала бабушка плаксивым голосом. — А сколько сюда «скорая» ехать будет, знаешь? Вот именно, не знаешь! А если что, как я потом? Ты обо мне-то подумал, а, Серёж? Нет, не думал, даже думать не думал!

Дедушка обиженно сопел, но не возражал.

— Давай-ка укольчик сделаем, — примирительным тоном говорила бабушка, — полежишь, подремлешь, а там и посмотрим. Давай, мой хороший...

Когда, выйдя из комнаты и тихонько закрыв дверь, бабушка стала прибираться на столе, Алёша потянул её за полную руку на веранду: «Пойдём, баб, чего скажу». И на веранде Лёша взволнованно зашептал: «Вертолётик на день рождения мне не надо, и маме с папой так скажите. Давай, баб, лучше купим дедушке новые шахматы. Эти у деда всё равно все исцарапанные».

— Ой, Лёшенька, миленький, добрая ты душа, — поцеловав, бабушка приобняла внука, — да друзья давно хотят ему новые шахматы подарить, только он свои старые ни на какие не променяет.

— Я в «Промтоварах» красивые видел.

— Ты читать-то пока не очень, а внутри его шахмат пластинка есть и там гравировка: «Сергею от друзей по роте». В молодости сослуживцы подарили. Иных уже и на свете нет, ну а память... Память ни на что не променяешь, — вздохнула бабушка. — Это поймёшь, когда уж жизнь проживёшь...

— И что, баб?

— Да что, что... Проснётся дедушка, опять коня своего искать будет, не отступится. Пока не найдет. Или пока, — бабушка в отчаянии махнула рукой, — да ну его, упрямый, как не знаю кто, даже говорить не хочу! — на глаза бабушки навернулись слёзы. — Всё хорохорится, а здоровья-то — пшик.

Всхлипывая и вытирая платочком глаза, бабушка ушла в дом, а Лёша призадумался, да так крепко, что стал грызть ноготь, забыв, что уже давно избавился от этой вредной привычки. Вдруг конь не найдётся, что тогда делать? Лёша машинально огляделся по сторонам: огород, яблони, железная бочка с водой, баня, домик с навесным замком, — там у дедушки мастерская... Да, вот что надо делать, есть же, остался в коробке один белый конь! Лёша сбегал в дом, тихонько достал единственного теперь белого шахматного коня, — и скорее к мастерской. А где спрятан ключ от навесного замка — Лёше известно, сбоку в стене, за коротенькой планкой.

В мастерской было светло, от стоящих в углу досок пахло сосновой смолой, возле длинной стены располагался гладкий, как зеркало, верстак с циркулярной пилой, закрытой кожухом; неподалёку возвышался ладный, чуть больше швейной машинки, токарный станочек. Другие инструменты, электрические и ручные, тоже терпеливо ждали своего старого хозяина. Недавно дед мастерил для Лёши игрушки из дерева, — крутящийся за леску самолётик с пропеллером и динозаврика с зубчатым гребнем на спине, — а чтобы внучок рядом не скучал, доверял и ему самому поучаствовать, по мелочи, конечно, но всё-таки.

И теперь Лёша представлял, как и что надо делать. Нашёл в ящике с материалами гладко обточенную бесхозную палку (хотя, возможно, то была незаконченная ручка для узких огородных грабель), приложил наличного, имеющегося белого коня — и сжал кулачок в ликовании: есть, повезло, почти одной толщины! Но чем же отпилить? Ага, вон на стене, на штырьках, — пилы, ножовки, и одна, с гнутой спинкой, словно игрушечная, — в самый раз. А самодельный дедушкин ножичек с коротким, наискосок, острым лезвием и искать не надо, лежит, как всегда, на краешке стола, и рукоятка удобная, синей изолянтной обмотана. Всё есть, только делай! Наметив карандашом макушку коня, Лёша отпил, — или, как учил дедушка правильно называть это действие, — отрезал ножовкой деревянный кусочек, закрепил его в мелких тисочках и, благо конь-образец был перед глазами, взялся то ножовкой, то ножом повторять его линии-формы в заготовке. И так увлёкся — не услышал скрипа двери.

— Ты чего тут, а? — заглянула в мастерскую бабушка.

— Да мне кораблик надо доделать, баб, — испуганно оглянулся Лёша, загоразивая свою работу. И это была почти правда. Лёша на самом деле собирался в свободную минутку закончить кораблик из маленькой дощечки, всего-то и оставалось вставить в прорезь тонкую щепку вместо руля да воткнуть спичку с парусом из конфетной обёртки, — и пожалуйста, кораблик готов в дальнейшее плавание, по ручью около дачи. Но не сейчас. Сейчас дело было поважнее любых корабликов. И когда бабушка, призвав его к осторожности, удалилась, Лёша продолжил колдовать над своим творением.

Теперь главное — не ошибиться, одно неверное движение ножичка, нечаянный скол, и всё пропадёт. Уже и солнышко перекагило от одного окошка к другому, а Лёша, затаив дыхание и высунув язык, словно щенок в жару, всё старался, всё корпел. И, наконец, выдохнул с облегчением: готово, поставил фигурку на подоконник. Ничего подобного не делал он своими руками. Из обыкновенной деревяшки получился необыкновенный белый конь. Он не был покрыт лаком, но все его подробности — и грива, и острые ушки, и шея, — лучезарно сияли, великолепный, просто восхитительный конь.

Вот только подправить одно ушко и зачистить мелкой шкуркой шероховатый край, и будет вообще класс! Однако нож, хоть и не испортил фигурку, но зацепил, царапнул Лёшин палец, и крошечное красное пятнышко отпечаталось на лбу у коня. Вот досада, слюной до конца не стирается, наждачной бумагой тоже, осталась всё-таки бледно-розовая звёздочка, ну и пусть, и так ух как здорово.

Мимо окон с огорода устало прошла бабушка, и Лёша, выскочив из мастерской, догнал её.

— Баб, смотри! — запыхавшись, он раскрыл ладошку, на ладони лежал белый конь.

— Нашёл? — изумилась бабушка. — Умничка ты моя, иди клади в коробку и пойдём к дедушке, а я его предупрежу.

Бабушка ласковым шёпотом разбудила деда и сказала: «Не там ты искал. А внучок-то нашёл!»

— Ну-ка, ну-ка, — оторвавшись от подушки и грузно сев на диване, дедушка недоверчиво поворочил пальцами фигурки в шахматной коробке и, выудив именно Лёшиного коня, радостно воскликнул:

— Вот он, голубчик, узнаю, узнаю! Жаль, подкладка отвалилась, но зато теперь мне и лекарств не надо, выздоровел, хоть в космос!

Пришли приятели дедушки, принесли ему свежих газет, сажались, потирая ладошки, играть на веранде в шахматы, и дед похвалился: «Нашёлся мой белый конь. Внучок, считай, его обратно под уздцы привёл». Больше всего Лёша опасался, что глянут взрослые повнимательнее и разоблачат самозванного коня, однако оттого ли, что в лучах закатного солнца все белые фигуры казались розовыми, как розовый налив, или в пылу борьбы, но никто особо не обращал внимания, как какая из фигур выглядит.

Впрочем, один из дедушкиных гостей, держа Лёшиного коня, нацепил на нос очки, и Лёша внутренне сжался: вот сейчас всё раскроется. Но седовласый дяденька сказал: «А вроде белый-то конёк даже лучше стал?» И другой поддакнул: «Наверно, в росе полежал, вот и стал». И всё обошлось.

На следующий день, наблюдая за игрой и расставляя сбитые фигуры в шеренгу около доски, Лёша заметил, что его конь вовсе не столь уж безупречен, как показалось ему сначала: и опорная часть, к которой дедушка уже приклеил мягкий синий кружок фетровой ткани, немного скошена, и ушки не одинаковые, и надрезы есть ненужные, лишние.

Но дедушкины друзья, азартно прыгая Лёшиным конём по тылам противника и сбивая вражеских воинов, похоже, ничего не заподозрили.

Более того, был, например, в дедушкиных шахматах один чёрный слон со сломанной верхушкой. И этого бедолагу при всяком случае заменяли другим, целым. А с Лёшиным конём всё наоборот. Когда один белый конь выбывал из баталии, игроки оставляли на поле непременно Лёшиного коня. Наверно, потому что и дедушка, и его друзья — люди уже пожилые, хоть и в очках — а зрение-то совсем не то. В общем, не замечали подделки.

Так и прижился самодельный Лёшин конь в шахматной коробке среди настоящих фигур. Теперь и сам Алёша с особенным удовольствием садился за дедушкины шахматы, зная, что сразу же в игре появится лично его, тайно ему принадлежащий резвый белый конь, которому ничего

не страшно. А укладыввая фигуры обратно в коробку, Лёша обязательно проверял, не отклеилась ли нечаянно подкладка с его коня, а самого коня укладыввал не просто в грудку фигур, а сверху, чтобы ничто его не повредило. И хотя дедушку — если только он не поддавался или не давал слишком уж большую фору, — обыграть пока не удавалось, зато своих ровесников на дачах и даже ребят постарше Лёша уже обыгрывал.

А в конце лета случилось вот что. Лёша, бабушка и дедушка сидели за обеденным столом, ели, смотрели телевизор; в дом, снимая кепку и пожелав всем приятного аппетита, вошёл дяденька. От приглашения отобедать он, поблагодарив, отказался:

— Да я на минутку. Стучал, вы не слышали, а калитка была открыта, вот и зашёл. Такое дело: косил траву около скамейки под липками. А там в скошенной траве, под лопушком, — фигурка, шахматная, вот эта. Выбросить — жалко, на скамеечке оставить — может ветром сдуть, снова потеряется. Но помнится, видел, вы, — он уважительно кивнул дедушке, — с товарищами в шахматы играет. Так, может, чья-то из вас, или кому понадобится? Извините, что беспокою по пустяку, — добавил он, протягивая дедушке белую фигурку.

— Этот, как вы выразились, пустяк, очень нам пригодится, — мягко возразил дедушка. — Спасибо преогромное. Всем известно, сколь трудно найти такую важную и ценную шахматную фигуру. Верно, Алёш? — вдруг обратился дедушка к внуку.

Лёша понуро кивнул. Достаточно было беглого взгляда да даже просто услышать сказанное гостем, чтобы понять: это тот самый, не подделка-самоделка, а настоящий, во всей красе, подлинный белый конь. В другой раз со словами «Всё, баб, я наелся, больше не хочу!» Алёша схватил бы конфеты и вон из-за стола, скорее гулять; однако теперь, виновато опустив глаза, он возил ложкой по уже пустой тарелке и не смел даже голову поднять. Хоть сквозь землю провалились...

Но дедушка, с лукавой усмешкой глядя сбоку на Алёшу, сказал:

— Правда, в моих шахматах полный комплект, Лёша мне ещё раньше белого коня сыскал. — Дедушка потрепал льняные волосы внука:

— Лёшин конь — всем коням конь!

РЫБА

В широкой, полноводной реке жила Рыба. Была она в полном расцвете юных лет, ладная, с болотно-зёлёным, как водоросли, гребнем-плавником на сильной спине, с округлыми розовыми плавниками на плотном брюшке и с восхитительным оранжево-красным хвостом, которые помогали Рыбе неспешно плыть по могучей реке и вдоль, и поперёк, и ничуть не уставать. А плавать Рыба любила. Едва восходящее солнце касалось воды, Рыба уже с удовольствием, словно проверяя свои владения, плыла мимо тихих склонов, где зябкими туманами клубились дремлющие кусты и деревья, мимо суровых полосатых буйков, которые при большой волне недоумённо покачивали верхушками-головами, мимо привязанных к прибрежным столбикам и звякающих цепями лодок, плыла так подолгу, пока не напоминали о себе и другие хозяева реки. Тогда Рыба сторонилась, уступая дорогу, или заныривала поглубже и смотрела из глубины, как летят по волнам юркие катерки, как длинно, протяжно тянутся грозные баржи или как старенький трудяга-буксир, натужно пыхтя, тянет за собой плоты из грузных, в бугристой коре, брёвен. Много интересного на реке, смотреть бы и смотреть.

Ко всему прочему неугомонная Рыба участвовала ещё и в рыбной ловле, и без неё это увлекательное действие просто бы не состоялось: ведь ловили именно её, Рыбу, она, Рыба, считалась главным призом и самым желанным трофеем местных рыбаков. Но никому пока не доступным.

А уж как только рыбаки, с хитрыми их подходами, ни ловчили, ни старались! Сыпали вкусную прикормку, лишь бы Рыба не уходила с присмотренного места, и одной только прикормкой Рыба порой наедалась аж на полдня. Правда, разок угощение оказалось коварным, дряни подмешали: травленая, ослабевшая Рыба чуть не всплыла кверху брюхом, и только быстрое течение спасло её от подлого, разбойного сачка, — но всё равно, вырвавшись из западни, Рыба не без гордости вспоминала о рискованном своём приключении.

И разные сети, приспособы да ловушки ставили на Рыбу; меняли ради неё блёсны, одна заманчивее другой, и цепляли на крючок такую соблазнительную наживку, — и мушек, и личинок, и смачных червей-выползков, — что хотелось, не раздумывая, одним махом слопать всё эту вкуснятину, аппетитное великолепие. Увы, многие подружки Рыбы уже навсегда заплатились за свою доверчивую всеядность, не видно их теперь в большой реке, нету. А вот Рыба, наученная хоть и недолгой, но любознательной и рискованной жизнью, чуткая и разборчивая, не спешила с поклёвкой. Только покружив вокруг наживки да разглядев хорошенько и её, и крючок, и поплавок, и тончайшую леску, приступала она к трапезе.

По чуть-чуть, с краешка или с кончика, обглаживала Рыба наживку, наслаждаясь ею, как наслаждается кулинарным изыском бывалый гурман. Под конец поплавок дёргался, рыбаки тащили улов — а крючок-то голый, обманула Рыба! Рыбаки-то думали, это они Рыбу приманивают, чтоб перехитрить и поймать, а выходило всё наоборот: озорная Рыба приманивала спозаранку сонных рыбаков, чтоб развлечься за их счёт. Любому рыболову такое обидно. И поняли рыбаки — не одолеть им хитрюгу, ругались в сердцах да и уходили, махнув рукой, чтоб забыть Рыбу раз и навсегда.

Только один рыбак, шепутной, молодой, бесшабашный, верил в удачу, не унимался. Правда, приходил он не с утречка, по холодку, когда рыбы, голодные после сна, готовы клюнуть хоть на щепку, а когда ему самому в голову взбредёт. Чудак, не рыбак! Достанет из коробочки червяка или личинку, поплюёт на них, цепляя на крючок, забросит снасти подальше и ходит возле удочек, которые на рогатинки положил, ходит, ходит да ладони потирает: вот сейчас клюнет, сейчас... Ага, как же! Невдомёк, бестолковому, что тень его давно на воду падает, чуть ли не плещется в воде, и никакая уважающая себя рыба, заметив подобную рыбачью оплошность, не позарится на наживку. И другие соплеменницы рыбы, хоть взрослые, хоть мелюзга, уплывали подальше от горе-рыбака. Но не Рыба. Из вежливости ли, из снисхождения или потому, что нигде больше не увидишь эдакого олуха, она поджидала рыбака в заводи, тарашилась из подводных зарослей.

Странную забаву Рыбы подметили другие обитательницы реки и передали, донесли всё как есть древней рыбабуле. То была рыбабула с плешивой коростой вместо чешуи, с тусклыми, наверно, уже слепыми глазами, рыбабула настолько старая, что когда она плыла, — а плыть она могла только по течению, — с берега принимали её за корягу. И вот эта старая, мудрая рыбабула, рыбабула, прознав о навязчивой причуде молодой Рыбы, позвала её к себе и предостерегла, устало шамкая ветхими, как сито, челюстями. И смысл предостережения был примерно следующий:

— Упаси, обереги тебя судьба влюбитесь в рыбака, в человека. Иначе ощутишь вдруг необъятный жар, не подвластный разуму. И тело твоё не совладеет с жаром неистовым, и станет меняться не по дням, а по часам, и вырастет не меньше целого сома, и никто из живущих в реке не будет тебе страшен. Но страшнее щучьих зубов подстережёт тебя другая беда, роковая, самая ужасная из всех, захватит всю тебя от головы до хвоста, от плавников до твоих смешливых глаз и нежных губ. И ты, свободная, гордая Рыба, обратишься в русалку. И не жить тебе тогда среди нормальных, приличных рыб, а придётся подобно несуразному, уродли-

вому существу, подобно огромному скрюченному раку ползти лунными ногами в дремучий лес и там искать себе новое пристанище, одинокий омут, камышом окаймлённый и ряской усеянный, чёрный от безысходной глубины, и жить в том омуте, если можно это назвать жизнью, однако и там ты не найдешь спасения, — ни от себя, ни от грязных слухов и насмешек, — а только вечную муку, и поверь, не будет судьбы печальнее твоей. Я прожила лет больше, чем чешуек на твоём молодом теле, всё наперёд знаю. Остерегись...

Такое предрекла древняя рыбабуля, опять зарываясь в уютный придонный ил.

Подобные страшилки вызвали у Рыбы лишь вежливую усмешку. Влюбиться, ей, вольной Рыбе, да ещё в человека, в рыбака, в этого чудика, — глупость же несусветная. И когда рыбак, в просторных, как паруса, линиях трусах стоял поодаль от снастей, прихлопывая на себе назойливых комаров и пуская изо рта тонкий сизый дымок, Рыба придумала для него шутку: подплыла тише воды к наживке одного удилица, осторожно взяла сбоку крючок мягкими губами, зацепила его за подводный корешок да потехи ради толкнула леску туловищем. Игра всё более её захватывала.

Ох, раззадорился, забегал рыбачок. И удилице тянул, и леску то стравливал, то подёргивал, думал, рыба поймалась огромная, не сорвалась бы, но сунулся в воду, а вся добыча — коряга в тине. Ясное дело, психанул паренёк, смотал удочки и пошагал восвояси... А у Рыбы настроение было превосходное. Не только оттого, что опять одурачила самонадеянного рыбака, но и потому, что разглядела его поближе. Руки рыбака, широкие, крепкие, загорелые и вроде бы грубые, всё же таки легко добрались по леске до самого крючка и ловко отцепили его, и запах от рук рыбака был особенный. Может, от того сизого дымка? Много костров жглось по берегам и от них доносился горький, едкий дым, однако аромат рыбачьих рук не тревожил, не пугал, а будто бы и манил. Необычный запах. И глаза тоже. Прежде рыба не видела вблизи глаз человека, а теперь увидела, — когда рыбак опускал голову в воду, чтобы разглядеть крючок. Волосы рыбака развевались под водой, словно бурые водоросли, его взгляд был устремлён только на крючок, и поэтому парень не заметил Рыбы, а вот она разглядела его глаза. Глаза у него были голубые, будто река летним утром или высокое небо, а значит, и он, рыбак, как и она, Рыба, тоже принадлежал и реке, и небу над ней, и думать об этом было приятно. Многие словно заново открылось взору Рыбы. Теперь она по-иному взглянула на всё вокруг, на те же водоросли, которые ещё недавно были для неё лишь салатом или укрытием. На растеньицах, что скромно прорастали под водой, на их узких листьях лежали, как росинки, пузырьки воздуха, и Рыба вспомнив детство, когда она была ещё беззаботным, шустрым мальком, стала хлопать эти пузырьки проворными губами, а потом и вовсе разошлась, взялась встряхивать растения хвостом и смотрела, как уцелевшие пузырьки, сияя, словно крохотные солнца, летят вверх и лопаются уже там. Подводные жучки и речные паучки в панике метнулись врассыпную, но Рыба и не думала гоняться за ними. Она вынырнула высоко из воды, кувыркаясь и подставляя разомлевшее гибкое тело солнечным лучам, так ей было хорошо и радостно.

И в следующий раз, из великодушия, из прихоти, соблаговолила Рыба подарить рыбаку надежду. Едва он появился у заводи, Рыба подплыла совсем близко к берегу, повела гребнем-плавником, плеснула хвостом, и заспанный, зевающий парень мигом проснулся.

«Погодь-ка, рыбонька, — зашептал он, расставляя руки и ступая крадучись в воду, — погодь, погодь...» Кинулся, схватил Рыбу, приговаривая: «Тихо, милая, тихо, моя хорошая...» А Рыба, одурманенная ароматом его властных, жадных рук, замороженная глазами его, как небо, яркими, убаюканная его вкрадчивыми, обманными словами, — Рыба совсем ослабела, обмякла, как неживая, и только нечаянная боль сдавленных

жабер вернула её к жизни. Дёргаясь и извиваясь, она, как безумная, хлестала хвостом по воде, и парень, зажмурясь от брызг, ослабил хватку и, глядя, как она ускользает, застонал с досады, стукнул себя по голове кулаками: упустил, сам упустил!

Разогнавшись и выпрыгнув из воды, Рыба полетела над ней с такой скоростью, что парившая низко белая чайка кинулась было наперегонки с летящей Рыбой, но сразу проиграла и от изумления выронила добычу, мелкую, вёрткую рыбёшку. И та, счастливая внезапным спасением, благодарно вильнула Рыбе дрожащим хвостиком и нырнула в толщу воды, подальше от всяких чаек. А Рыба вернулась назад, откуда начала своё стремительное движение, туда, где струи воды, разогретые её подвижным телом, ещё хранили запретный, желанный аромат азартных рыбацких рук, и пересекала эти струи снова и снова, чтобы опять вдохнуть пьянящий запах.

Никогда прежде не ощущала Рыба сердца внутри себя. Сердце было лишь частью её надёжных, натренированных мышц. Но теперь её сердце билось широко, ликующе, как высокие волны о крутой берег. Ни отдыхать, ни спать Рыбе совершенно не хотелось. С приближением ночи, когда стих речной шум и лишь мошकारа монотонно зудела у берега, Рыба заплыла далеко за излучину и с удовольствием наблюдала, как зажигаются на синем небе огоньки звёзд, а внизу, под небом, на синей ленте берега, словно откликаясь, тоже загорается множество огоньков, огоньки окон, и эти оконные огоньки потом гасли по очереди, и тогда река, просторная, блестящая и безмолвная, освещённая только звёздами и Луной, казалась загадочной и волшебной, как сказка, где всё возможно.

Рыба не сомневалась: теперь-то рыбак ни свет ни заря явится с удочками. Но на следующий день ни утром, ни днём, ни вечером парень не пришёл, и на следующий день — тоже, и потом, и потом... А может, он ловит её в другом месте? Рыба поплыла искать рыбака и, наконец, высмотрела, заметила. Не одного. Оживлённый, говорливый, он шёл по берегу, обнимая молодую босоногую женщину. Рыба заплыла вперёд, разглядеть её: пухлая девица, ничего особенного, вот как можно выбрать такую себе в подруги? Или рыбаку всё равно, кого прижимать к себе? Наивный, доверчивый недотёпа...

Смеясь и слегка уклоняясь от объятий, девушка лузгала семечки, и отворачивая светловолосую голову, сплёвывала шелуху в реку. Рыба недоверчиво, брезгливо понюхала одну шелушинку, кожурку, которая лодочкой закачалась на воде, и не понравился Рыбе этот запах, чужой, ненужный, глупый запах. Рыба отплыла в сторону, чтобы продолжить наблюдение за парочкой, но парочки уже не было видно, только чуть шевелились, — наверно, от ветра, — ветви ольховника. И ничего больше.

А потом рыбак и совсем пропал. И одиноко стало Рыбе, скучно, невмоготу. Неужели рыбак взял да и забыл её, разве так можно? И что ждёт её? Пережив многих и многих, она станет, на зависть всем обитающим в реке, вечной рыбой, зароется в тину и будет изредка поднимать набухшие, тяжёлые глаза, чтоб только убедиться: и вода, и время всё ещё неизменно текут над нею и мимо неё? Рыбе не хотелось вечности... Или рыбак обиделся, не поймав её тогда? Рыба вполне понимала его охотничий азарт и его уязвлённое самолюбие. Она даже подумала: если так уж нужна ему, если он жаждет её поймать, так и быть, и если он придёт в следующий раз, — что ж, значит, судьба быть ей пойманной. Но пойманной только им и никем другим, так она решила для себя. Лишь бы увидеть его.

И вот однажды, когда с горы послышались звон и резкие гудки (это звонили колокола и подавали сигналы автомобили), Рыба подалась к пристани. По шатким ступеням с горы шумной гурьбой спускался пьяненький народ, садился в лодки. Лодки эти были не только с вёслами, но и с хвостом, быстрые как раз благодаря хвосту. Рыба знала: хвост у них, как объясняли рыбы постарше, — железный цветок. Если нет в лодке

людей, — не бойся его, и разок Рыба подплыла к недвижному железному цветку, потрогала осторожными губами. Диковинный цветок, три лепестка всего, блестят, как чешуя, изогнуты затейливо, а твёрже камня, острее осоки. «Если ж есть в лодке люди, не думай подплывать, — предупреждали бывалые рыбы, — а то закружатся острые лепестки, станут прозрачнее воды, не заметишь свою погибель. Страшный он, железный цветок, держись от него подальше».

Но не о лодках и железных цветках думала сейчас Рыба. Впереди толпы увидела она своего непутёвого рыбака. Тот был теперь в непривычном наряде, в костюме, а та женщина — в белом платье, шли они под руку и уселись посреди одной лодки, и взяли каждый по веслу и стали грести лёгкими плавными взмахами, как и должно молодым грести вместе, плечом к плечу, по жизни. Были кроме молодых в лодке ещё двое: один человек сидел на корме, над железным цветком, а другой, гармонист, — на носу лодки. Остальные лодки плыли рядком, тоже поначалу тихо. А Рыба плыла возле лодки рыбака и всё глядела на него из-под воды, хотя он не замечал её, он смотрел на невесту.

— Эй, молодые, хорош ползти! — закричали с других лодок. — Заводи! Погнали на моторах!

Лепестки железного цветка закрутились с бешеной частотой, превратясь в острый белый диск, и лодка жениха стала поворачивать за излучину, — наверно, к противоположному берегу, туда, где по ночам зажигается множество ярких оконных огоньков. А для Рыбы прямо сейчас происходило непоправимое, невозможное, рыбак удалялся безвозвратно, насовсем, навсегда, и Рыба рванулась следом, угадывая в отчаянии, что не хватит ей дыхания, не хватит силы гибких жабер. Плавники, спина, хвост Рыбы наострились стрелой, диск железного цветка верещал, свистел, ревел совсем рядом, но Рыба, забыв про всё на свете, боялась лишь одного — потерять из виду, из памяти смеющееся лицо, непослушные русые вихры и голубые глаза своего непутёвого рыбака. И нежный хруст воды милостиво закончил её погоню.

К счастью, Рыба так и не стала русалкой, не успела. А стала б русалкой и попала б под винт, — конечно, вполне могла б и остаться живой. Скорее всего и выжила бы. Однако искалеченная, изувеченная да ещё и безутешная от неразделённой любви русалка, вдали от суженого — это одна сплошная и вечно ноющая рана, боль нестерпимая. И как ни грустно, но Рыбе повезло: оставаясь рыбой, она даже не вскрикнула. Почему? Да кто ж их, рыб, знает! Возможно, рыбы столь бесчувственны, что совсем не ощущают боли, а возможно, ощущают боль не хуже нас, но просто не умеют кричать. Трудно представить, какими вскриками наполнилась бы речная долина, если бы рыбы, пойманные в сети или на маленькие острые крючья, подавали голос подобно пленённым или раненым зверям и птицам, не хочется этого представлять. Однако рыбы, — честь им за то и хвала, — умирают с молчаливым достоинством, не тревожа ни покой, ни совесть человека. И ещё говорят про рыб, что они вовсе не умирают, а засыпают. Значит, есть надежда, что Рыба не погибла, не умерла мгновенно, а лишь уснула навеки, чтобы видеть забавные, прекрасные сны о непутёвом, бесшабашном молодом рыбаке, который так её и не поймал.

И никто на большой реке не заметил бы пропажи какой-то там Рыбы, только невеста, придерживая на ветру белую фату, крикнула: «Кажется, рыба под винт попала!»

— Это бывает, — отвечал, перебивая рёв мотора, гармонист и затянул во все расписные, залихватские меха. — «Ах, зачем эта ночь так была коротка, не болела бы гру-у-удь, не страдала б душа...»

Пел он вальяжным басом, с куражом, с разудалым удовольствием, и речная волна весёлым клином бежала за лодкой, оставляя прошлое и всё печальное далеко-далеко позади.